



КОНСТАНТИН
СТЕШИК

родные
и близкие

Константин Стешик

Родные и близкие

Серия «Во весь голос»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74536796

Родные и близкие:
ISBN 978-5-907982-03-1

Аннотация

«Родные и близкие» – сборник рассказов белорусского драматурга и писателя Константина Стешика. В них парадоксальным образом сочетаются вовлеченность автора в фактуру творимых его фантазией миров и редкая способность абстрагироваться от Евклидовой геометрии. Произведения сборника – вереница снов, миражей и загадок, ловко притворяющихся то воспоминаниями, то сказками-страшилками. Это прекрасные части большого и объемного мира, застывшего перед читательским взором за миг до решительных и неотвратимых событий.

Зачарованность смертью и неизбежностью финала в рассказах Константина Стешика уводит читателя не в мрачный реализм, но в зыбкое замороженное междумирье, где сказка или миф становятся неотъемлемыми условиями проживания сюжетов и внутренних коллизий.

Содержание

Папа	5
Лёня	8
Каблуки	11
Серёжа	14
Елены	19
Папиросы	24
Английский	28
Варежки	33
Пальцы	38
Двоеточие	43
Я видел собаку	48
Потолок	63
О настоящем «Ч»	67
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Константин Леонидович Стешик Родные и близкие

Памяти моего отца

© К. Стешик, 2025

© ИД «Городец», 2025

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

@ Электронная версия книги подготовлена ИД «Городец» (<https://gorodets.ru/>)

Папа

Папа ходил и спал в старенькой шинели. Мама ругала папу и просила хотя бы снимать сапоги перед постелью. Папа сбрасывал с грохотом сапоги и падал на простыни, не признавая одеяла, кутаясь в побитую молью мшистую шинельку. Мама сидела всю ночь на краешке рядом и тихо плакала в носовой платок.

Папа не пил водку, папа не курил, он даже телевизор не мог смотреть – вставал в пять утра и шел на балкон, строгать что-то страшно острым ножом. Этим ножом резались все, только папа не резался – папа облизывал лезвие языком, и ничего не случалось. Наверное, в папе не осталось ни капли крови, вся кончилась еще много лет назад, тогда, на войне.

У папы было темное лицо с неопрятной редкой бородой, а вот глаз его мы не помним – они всегда смотрели куда-то вниз, поэтому вместо глаз были какие-то постоянные черные лужицы сморщенной кожи.

Папа почти не разговаривал. Мама тоже научилась почти не разговаривать, но на телефонные звонки отвечала, с трудом заставляя себя вспоминать самые простые слова. По субботам папе приносили пенсию, но папа никак на это не реагировал – так и продолжал сидеть на табуретке, играя ножом. Иногда папа с силой швырял нож в стену, выбивая из нее громадные куски штукатурки. Мама ругала папу, но из дру-

гой комнаты, на всякий случай. А потом снова плакала, как ночью.

Нет, он никогда не был другим, до войны. Он всегда был такой, с самого начала. Посмотрите на свадебную фотографию – он в той же самой шинели, только чуть поновее, а глаза все так же смотрят вниз, под ноги, на сапоги. Мама еще улыбается, но как-то уже сомневаясь. На этой фотографии папа так же сидит на табуретке, а мама стоит слева, чуть позади, положив руку папе на плечо.

Она его любит, до сих пор любит, сейчас, может, даже сильнее, чем раньше, до войны. Его нельзя не любить, говорит она, он такой добрый. Наверное, самый добрый вообще. Мы не спорим с мамой, верим ей всегда, потому что так воспитаны.

Впрочем, если сильно постараться, то да, можно увидеть, можно почувствовать, разобраться – и как будто даже заметить, что папа вот-вот улыбнется нам. Но у папы отваливается челюсть, и в темный провал его беззубой пасти отправляется кусок хлеба с морозными крошками соли. Мы вздрагиваем, поскольку в этот самый момент видим внутри себя, что это и не хлеб вовсе, а плоть наша, скверное мясо его сыновей. Папа, не задумавшись, проглотит каждого из нас, если будет нужно.

Только, если начистоту, лучшего отца нам и не придумать. Он ни разу нас не ударил – даже когда мы дотла сожгли наш прошлый дом. Тогда папа и вовсе не посмотрел в нашу сто-

рону, как будто нас и не было никогда. Просто улегся в своей шинели на обугленную кровать, не забыв сбросить в угли сапоги, и уснул. Очень тихо, без храпа. А мы стояли рядом, с ног до головы в саже, мама плакала, а соседи – чуть поодаль – просто боялись подойти.

Папа убивает быстро и наверняка любого, кто будет мешать, – и ему за это ничего, потому что он воевал, у него медали, много, мама хранит их в чистой тряпице под одной из половиц на кухне, а папе все равно – он не за медали воевал.

И вот он так спал посреди пепелища, а мы до самого утра стояли рядом и боялись, что он проснется, но еще больше мы боялись, что он не проснется. «Если он умрет, – думали мы, – то все равно не оставит нас. Будет так же бродить по квартире, сопровождаемый теперь уже зримым черным ветром, захлестывая нас своим небытием, и совсем перестанет спать».

Но пуще всего мы боялись, что папа станет смотреть нам в глаза и вспоминать наши лица. И как-нибудь утром сядет к нам на постель и скажет одному из нас: «А ну-ка, иди сюда, сынок».

Лёня

У тети Лёни не хватало двух пальцев на левой руке. Странное полумужское имя – Леонида – как будто бы зло подшутило над ней: тетя Лёня долго служила в армии, там ей и оторвало пальцы разорвавшейся прежде времени гранатой.

Тетя Лёня любила выпить – сидела одна за столом на кухне и пересказывала сама себе последние новости. Потемневшую рюмку подхватывала со стола трехпалой рукой, начисто игнорируя целую, – тетя Лёня не любила правую за здоровый вид и считала ее во всем виноватой. Тетя Лёня была левшой.

Мы же в такие пьяные минуты сидели под дверью кухни, стараясь дышать как можно тише, и с нетерпением ждали, когда тетя Лёня объявит главную новость дня. Главная новость каждый раз была разная, только смысл всегда один – опять все умерли, на этот раз, например, от тифа. Если все умерли, то нам пора – мы хватали друг дружку за одежду и бежали из дома на улицу, подальше из нашего двора, за овощной магазин, за больницу, – прятаться на задворках морга, сюда она точно не дойдет, заблудится.

Тетя Лёня, когда напивалась, не против была кого-нибудь из нас почти убить. Она и так не особо налегала на ласку, измученная темным прошлым и недостающими пальцами, а добравшись до кондиции, лупила нас чем попало – даже табуретом, на котором перед этим сидела. Став постарше,

мы стали и немного умнее – не ждали уже главной новости, а сразу шли на улицу, если Лёня долго не выходила из кухни.

Самые окрепшие из нас понимали все, едва заслышав первый воздушный еще стук стекла по столу – это бутылка становилась на стол, а рюмку тетя Лёня, перед тем как поставить рядом с бутылкой, пару минут вертела в трех пальцах, проглядывая на свет. Бояться было чего даже самым взрослым из нас – Лёня весила все сто двадцать и ростом своим задевала притолоку.

На улице мы, конечно, хвастались сломанными пальцами и ушами, только повторять никому не хотелось, для почету хватит и этих переломов и шрамов. Понятное дело, мы никому не признавались, кто это нас так, – сочиняли себе случайные бои со взрослыми мужиками, у которых мы якобы попросили закурить, а они отказались. Но потом силы у тети Лёни кончились.

В первый раз она просто упала на пол, с грохотом опрокинув табурет и расквасив себе нос и губы. Мы не стали ее бить, потому что нельзя бить единственного родителя, пусть и косвенного. У нас, кроме Лёни, никого не было тогда, и своего существования без нее мы просто не представляли. А еще она умела смеяться очень по-женски, чего от нее не ожидал никто, только мы знали этот ее секрет. Смеялась она так редко, но именно за этот смех мы ее и любили, поскольку смеялась она нам – такая у нее случалась иногда ласка в нашу сторону.

Лёня стала падать все чаще, однажды сломала себе руку и после этого пила уже в постели, вцепившись в рюмку непременно левой, пусть даже и загипсованной рукой, громко ругая правую. Потом Лёня вообще перестала вставать.

Мы носили ей бутылку, подсовывали почти пустые щи, которые приноровились к тому времени готовить сами, а Лёня лежала молча и только шевелила последними пальцами левой руки – правая двигаться перестала и, похоже, ушла из жизни.

Перед самой смертью тети Лёни мы отважились и вымыли с мылом ее большое тело – соседи начали жаловаться на запах и угрожали участковым: похороните, мол, того, кто у вас умер, будьте людьми. Мы елозили сырой тряпкой по белому телу, а Лёня едва слышно рыдала от стыда, прикрывая глаза искалеченной рукой.

Когда она умерла, кровать под ней провалилась.

Денег на гроб у нас не было, мы закатали Леню в старый ковер и ночью выволокли в лес, где и прикопали. Участковому сказали, что тетка уехала в родной город и не вернулась, на что тот только кивнул и вышел, так и не прихватив ничего по пути – нечего было, никакого антиквариата, кроме раздавленной кровати.

Потемневшая теткина рюмка, которую мы прятали, через девять дней треснула пополам. Ну что ж, пришлось выбросить.

Каблуки

Нам было совсем немного лет, когда отец впервые с работы пришел не к нам домой, а к соседке, тете Жене.

Мы как раз торчали у самого подъезда, вяло играя в ножички, когда он появился во дворе, пошел к нам, но прошел мимо нас, как будто это и не мы, а просто так – вообще дети. Он сосредоточенно вышагивал, опираясь на палку, – левая нога его, с лихо отставленной ступней – словно он собирается затанцевать, коротко, но емко чиркала пяткой по асфальту.

У всех левых отцовских башмаков был безнадежно испорчен каблук, нормальный человек такую обувь носить бы не смог, поэтому мама всегда их выбрасывала, как только левый каблук истирался до самого нельзя и отрывался, – правые башмаки оставались лежать под кроватью родителей в серых сырых коробках до самой смерти мамы, после мы вынесли их на помойку.

Мама не говорила, зачем и кому они нужны, а мы не спрашивали – у нас в семье не принято было спрашивать, как, в принципе, и говорить. Отец никогда не разговаривал с мамой, мама будто бы не замечала нас, а мы без всякого напряжения молчали между собой.

Отец прошел мимо нас, даже не посмотрев в нашу сторону, на что мы, может, и не обратили бы внимания, если бы

он не был так нарочит в своем упорстве не видеть нас. Он, покраснев от натуги, старательно смотрел в себя и вышагивал поэтому, нелепо подпрыгивая, хлопая себя портфелем по бедру и даже как будто повизгивая от чрезмерных усилий и злости на себя.

Перед самым подъездом он остановился, поставил портфель, вынул из кармана плаща чудовищно грязный платок и принялся утирать им лицо – в этот момент ветер сдул с него шляпу. Отец вскинул руки с платком вверх, но успел только помахать ими над лысиной – так, будто сдавался навсегда чужой воле, выбрасывая над головой когда-то белое знамя. Шляпа шлепнулась в лужу.

Мы уже не играли, ножик торчал в земле, а мы стояли, руками в карманы курток, и самые старшие из нас понимали, что все, а младшие только чувствовали это «все», но понять еще не могли – и потому тихо плакали.

Отец затолкал платок в карман, подхватил портфель и пошел дальше, в провонявшую чужими ссаками темноту подъезда. Через несколько минут мы увидели бледное лицо тети Жени в правом от подъезда окне второго этажа, из-за спины у нее кто-то выглядывал, вытирая каким-то белым комком темную лысину.

Мы пошли домой, ножик остался торчать, а мама теперь каждый вечер садилась у стены и слушала, прижав ухо к обоям, отцову новую жизнь.

Когда отец умер, его в красивом гробу вынесли из подъез-

да и поставили на две табуретки. Лицо у отца сделалось худым и черным, в правой руке он, как нам показалось, все так же судорожно сжимал тот же самый платок, только теперь чистый и с красной вышивкой. Новую, вместо старой палки, трость тетя Женя сама подложила отцу в его последнюю постель, а потом вдруг ноги перестали ее держать, и тетя Женя плюхнулась задом на асфальт, неловко уцепившись голубыми пальцами за мертвый рукав уже не нашего отца.

Мы испугались чего-нибудь жуткого, что могло бы случиться дальше, – например, тети-Жениного из самого нутра воя, – поэтому просто убежали так далеко, как умели, к самому озеру, к бомжачьим холодным кострам.

Вечером мама снова села у стены – слушать. Мы боялись ее, когда она вот так слушала, боялись ее реакции, но мама всегда оставалась спокойной. Осталась такой она и в этот день – сидела не двигаясь, прижав ухо к обоям. За стеной на разрыв орал телевизор, и кто-то довольно смеялся папиным голосом. Мы, не включив свет, сидели на кухне и смотрели в окно – там наискось и быстро-быстро бежал мимо всех нас первый снег.

Серёжа

Десять лет назад дядя Серёжа сошел с ума, и ему, по слухам, сделали лоботомию. Мы толком не понимали еще, что такое лоботомия, поэтому считали дядю Серёжу крайне опасным и старались не выпускать его из виду, когда он выходил во двор – посидеть на скамейке.

Конечно, никакой он нам был не дядя, но так его звали во дворе – дядя Серёжа, фамилия у него была Капустин, но ее никто не помнил. Серёже Капустину было уже за сорок, он жил на пенсию по инвалидности и ходил круглый год в одних и тех же плаще и берете, нечеловечески замызганных. От дяди Серёжи серьезно пованивало, и еще и поэтому мы боялись его – запах был острый, так воняли дохлые майские жуки в банке, которых мы однажды забыли на подоконнике на даче, а потом взяли и, на свою беду, понюхали.

Дядя Серёжа всегда улыбался, но не бессмысленно, а как-то даже с хитрецей, с характерным ленинским прищуром, за что мы его особенно не любили. А еще за слюну в уголках рта, за эти постоянные вязкие желтоватые комочки. Неужели, возмущались мы, нельзя утереться рукавом? Но в рукав дядя Серёжа предпочитал иногда сморкаться – прямо в локтевой сгиб.

По пятницам дядя Серёжа выводил из подъезда старенький велосипед и очень долго ходил с ним по двору, крепко

держась за руль. Потом останавливался, выуживал из воображаемой сумки несуществующие воздушные письма и газеты и аккуратно распахивал их по таким же воздушным почтовым ящикам. Десять лет назад Серёжа Капустин работал почтальоном.

Мы резали колеса его несчастному велосипеду, гнули спицы, открутили и спрятали в подвале сиденье, но «воздушный почтальон» дядя Серёжа на такие мелочи не обращал никакого внимания. А может, просто не понимал.

Здоровался он буквально со всеми, кроме разве что собак и кошек – этих он любил и всегда гладил, – правда, на расстоянии, как будто не осмеливаясь беспокоить их настоящим прикосновением. Мы же собак боялись, а кошек расстреливали камнями.

Дядя Серёжа Капустин был, в общем, вполне безобидным дурачком, которого никто не боялся, кроме нас, детей. Нам же он портил жизнь своим постоянным присутствием во дворе и снился по ночам. Мы всерьез верили, что он только и ждет, чтобы при случае задушить одного из нас, за что ему, дурачку, ничего не будет – дурачок же, а нам придется до конца дней своих ходить в гости на кладбище друг к другу.

Мы боялись его больше, чем даже старух, которые считали наши зубы и пальцы с целью убить нас, детей, таким черным подсчетом, – боялись и ненавидели и потому однажды договорились между собой прикончить дядю Серёжу, воткнуть ему в горло ножик или ударить по голове камнем.

Ножи у нас были никудышные перочинные коротышки, такими хотя бы порезаться и то трудно, поэтому первый способ мы забраковали. Осталось найти подходящий камень и придумать, как заманить дядю Серёжу за овощной магазин, где никогда никого не бывает, только гниют в исполинской траве старые ящики.

Камень мы искали долго, придирчиво перебирая возможные кандидатуры на берегу озера, – там было много всякого мусора, в том числе и разнообразного булыжника, но нужный нам по весу никак не попадался. Тогда мы решили сложить несколько штук вместе в дряхлую наволочку, затянув ее потуже, чтобы камни плотно прилегали друг к другу и не рассеивали силу удара.

Сложнее всего оказалось заманить Серёжу за овощной. Серёжа сидел на скамейке, улыбался нам и посекундно здоровался с нами, но идти упорно никуда не хотел, мотая отрицательно головой на наши обещания налить стакан водки или показать дырку в стене бани. Мы уже начали внутренне соглашаться с тем, что ничего не выйдет и придется и дальше терпеть дядю Серёжу в нашем дворе, но тут самый младший из нас нашел решение: он так неожиданно завопил дурным голосом, что даже мы перепугались и, ничего поначалу не понимая, чуть не ринулись бежать.

Позже мы разобрали слова, на которые дядя Серёжа отреагировал своеобразно, бросившись в подъезд за велосипедом: «Дядя Серёжа, почта горит!»

Дядя Серёжа бежал сноровисто, не роняя велосипед и ориентируясь на истошный сквозной крик про горящую почту. «Почта горела», конечно, за овощным магазином, там под ящиками была спрятана нафаршированная камнями наволочка, а мы вдруг поняли, что не готовы убить – пусть даже дурачка Серёжу, – но деваться было некуда. Поэтому мы достали из-под ящиков наволочку, отдали ее самому старшему, и тот ударил дядю Серёжу в выпуклый затылок.

Серёжа как раз пытался увидеть на задней стене магазина «горящую почту», когда с неуместно мелодичным хрустом лопнул, как нам показалось, его бессмысленный череп. Велосипед упал рядом, жалобно звякнув.

Мы не стали смотреть на конвульсии, не желали видеть никакой крови, мы спешно сбежали домой и три дня в невыносимом ужасе сидели дома, каждую секунду ожидая прихода милиционеров с собаками. Никто не пришел.

Через неделю дядя Серёжа снова вытащил во двор свой перекореженный велосипед. Постоял с ним немного у подъезда и отвел назад. И с тех пор уже не работал «воздушным почтальоном» – наверное, потому, что почта его сгорела. С этой почтой сгорел и наш страх. Когда дядя Серёжа через много лет умер, мы взялись за его похороны – и вот тогда и узнали, что он Капустин.

Квартира его была на удивление пустой, светлой и чистой. На подоконнике в кухне мы нашли большую общую тетрадь с единственной записью на первой странице: «Сегодня хоро-

шая погода». Дядя Серёжа не обманул – погода и правда была слишком хорошей для марта, поэтому, разойдясь с крыльца крематория в разные стороны, мы со спокойным сердцем забыли покойника навсегда.

Елены

Дядя Павел человек был сильнопьющий, из-за этого конкретно с придурью – и троих своих дочерей называл одинаково – Еленой. Старшую принято было так и оставить Еленой, средняя стала Леной, а младшая, соответственно, – Леночкой.

Отец их, выпив, любил подраться и дрался в основном с женой и дочерьми – хватал обычно алюминиевую трубку от пылесоса и со всеми последними силами бил по чему попало. Сил у дяди Павла было пока еще много, потому трубка вся погнулась и сплющилась, а жена его, тетя Мария, и три Елены стали часто ночевать у нас – дядя Павел все чаще угрожал топором, которым рубил мясо. Топор хоть и тупой, но все же не полая трубка из алюминия.

Тетя Мария спала в одной комнате с нашей матерью, а Елены – на нашей кровати, за что мы их крепко не любили, поскольку нам тогда доставался совсемдохлый матрас на полу. Елены были жутко стеснительными, спали в одежде, а если мы среди ночи вдруг случайно оказывались рядом – больно щипали нас за плечо.

Мы тогда не могли знать, конечно, что Елена, когда вырастет, станет летчиком-испытателем, что Лена выйдет замуж за спивающегося писателя, а Леночка сопьется насмерть сама, – для нас они были все на одно лицо, как близнецы, мы

легко их путали и вообще не помнили, кто из них кто, тем более что общее у них на всех имя никак не помогало их различать. Мы упорно звали всех троих Леной, не понимая и не чувствуя разницы между принятыми в их семье вариациями. Елены обижались и подолгу с нами не разговаривали.

Когда старшая окончила школу, а младшая осталась на второй год в восьмом классе, дядя Павел зарубил топором тетю Марию и сел в тюрьму. Елены пробовали жить одни, у них неплохо получалось, но наша мама никак не могла с этим согласиться и кое-как, но все же уговорила Елену отдать нам Леночку.

Мы думаем сейчас, что старшая ломалась скорее для виду, не желая казаться несамостоятельной и слабой, а на деле была рада избавиться от младшей, потому как очень хотела уехать в столицу поступать, а взять с собой Леночку не могла – та к тому времени капитально испортилась и стала почти неуправляемой.

Так Лена осталась жить на их квартире одна, Елена уехала учиться, а Леночка попала к нам в руки. Мы били ее почти каждый день. Во-первых, она была одна, а нас много. Во-вторых, она сильно подурнела и совсем перестала нам нравиться. И в-третьих – она воровала у нас деньги. По этим трем причинам Леночка постоянно ходила с подбитыми глазами – то правый, то левый, а то и оба. Дважды мы ломали ей нос, один раз – руку, которая срослась неправильно и потом нелепо торчала в сторону птичьей лапой.

Мы не были хорошими братьями. Мама наша работала в больнице, потому дома бывала нечасто, практически всегда ближе к ночи, — и детей своих почти не видела. Кроме разве что Леночки, которую чаще всего подбирала на лестничной площадке этажом ниже — никакую и в рвоте.

Лена Леночку к себе не пускала, мы — тоже, но мама не пустить не могла, хотя, подозреваем мы, в глубине души ужасно хотела уметь не пускать, но не могла. Тащила полуживую Леночку по лестнице, шепотом матерясь.

Мы в такое время, как правило, спали, так как все были жаворонками и ложились рано.

Елена приезжала редко, потом и вовсе перестала, сначала раз в месяц писала короткое письмо, но со временем письма становились все короче и приходили все реже, а последней пришла новенькая открытка с самолетом. На обратной стороне, там, где положено быть словам, слова были, но мало и вот такие: «Не знаю, что написать. Елена». Одно время мы думали, что она умерла, но как-то раз прочитали о ней в газете — и тогда забыли ее уже насовсем.

Лена в гости к нам не ходила, а ходили про нее всякие грязные слухи, что, мол, спит со всеми подряд, лучшая мискетчица в городе и прочая галиматья в таком же ключе. Мы не стремились проверить, все-таки Лена была нам сестра, пусть и двоюродная и не шибко любимая. Но к ней мы хотя бы испытывали минимальную симпатию, а вот Леночку просто ненавидели.

Из школы ее поперли – в придачу ко всем своим фокусам она еще и забеременела. Мама обрадовалась, но Леночка родила мертвого ребенка и сошла с ума.

Первый раз в психушку сдали ее мы. Леночка в тот вечер пришла домой сама, почти даже трезвая, но вся какая-то мокрая и жалкая – упала в лужу, объяснила нам она. Нам было, в принципе, наплевать, лишь бы не загадила ковры, поэтому мы помогли ей переодеться в сухое, дали стакан чаю и ушли в свою комнату – заниматься кто чем.

Младшие клеили модель самолета, старшие готовились на завтра в техникум, все вместе слушали радио. В какой-то момент открылась дверь, и к нам вошла Леночка – совершенно голая и с ног до головы перемазанная собственной кровью, но никто не заметил – радио надрывалось, а мы сгрудились вокруг стола, поглощенные напрочь каждый своим делом.

Обнаружили мы ее у себя, только когда она начала кричать и легко перекричала радио. Леночка стояла у нас за спинами, смотрела в наши повернутые к ней лица спокойными, добрыми глазами и громко кричала.

Когда уехала скорая, мы не пошли сразу домой – остались во дворе и впервые нарушили режим: сидели молча на скамейке и курили часов до двух ночи.

Лена через месяц вышла замуж, но на свадьбу нас не позвала, а потом и вовсе продала квартиру каким-то грузинам и уехала с мужем к сестре. Писем от нее не было ни одного. Через год умер в тюрьме дядя Павел.

Можно сказать, мы остались одни – Леночка месяцами жила в больнице, там превратилась в бессмысленную черную старушку с подбитой лапкой и окончательно разучилась разговаривать. Дома она, когда возвращалась, почти не бывала, бродила, шаркая разбитыми сандалиями, по улицам и собирала пустую тару. На вырученные копейки покупала бутылку самого мутного бырла и от нее за минуты уходила в никуда, в полное небытие.

Когда Леночку нашли мертвую в траве за овощным магазином, ей было всего двадцать пять. На похороны из остальных Елен никто не приехал.

Папиросы

Дед Миша курил одну за одной и потому имел приятно оранжевые усы при белоснежной бороде.

Он не признавал самокрутки и покупал исключительно «Приму» – шел в магазин с веревочной авоськой, набивал ее плотно белыми с красным пачками, а дома вываливал все это добро на стол в кухне, потрошил пачку за пачкой и долго, с предельным тщанием считал папиросы.

Не потому, что их могло не хватать, а исключительно удовольствия для. Правда, удовольствия по отношению к нам достаточно сурового, потому как не дай бог даже случайно нарушить дедов медитативный подсчет. Дед, как правило, хватал нарушителя за ближайшее ухо и с силой выкручивал, оставаясь удивительно глухим к любым воплям.

Вдоволь наигравшись с чужим, стремительно синеющим ухом, дед Миша все подсчитанные папиросы сгребал обратно в кучу и начинал подсчет сначала. Когда заканчивал, брал с подоконника общую тетрадку в жесткой обложке и вписывал в нее дату, а напротив – количество папирос. Трогать тетрадь, понятное дело, строго воспрещалось.

Часть подсчитанных папирос дед Миша складывал в потертый портсигар с танком на крышке, остальные – в специальную большую коробку из тонкой жести. В нашей семье эта заветная коробка так и называлась – «папиросная» – и

стояла у деда в комнате на тумбочке при кровати. Из коробки дед курил дома, а портсигар брал с собой на улицу, закладывая его перед самым выходом в левый карман гимнастерки.

Спички он каждый раз забывал, поэтому мог по несколько минут сидеть за доминошным столом с нераскуренной папиросой во рту, злобно зыркая на недогадливых однокашников, а попросить – язык не поворачивался. Дед Миша никак не хотел признать свою отставку и видел в остальных людях не людей, а только недалеких и медлительных подчиненных, поголовно страдающих разжижением мозгов и куриной слепотой.

Мы ему такой подход все же прощали, поскольку по-настоящему злым он никогда не был – просто раздражался чаще, чем следовало.

Он был уже старый, но все еще крепкий – может, за счет двух метров роста и постоянной жизни на улице, а может, еще почему, мы теперь не узнаем. Во дворе его натурально боялись, но с уважением, хотя многие откровенно заискивали – дед принимал это как должное и не расстраивался, когда к его папиросе с поклоном подносили шипящую спичку. Он коротко кивал, слегка мазнув глазами очередного поджигалу, и снова уставлялся в доминошные костяшки у себя на ладонях.

Как только кончалась одна папироса, он степенно откладывал в сторону костяшки, вынимал из кармана портсигар и

из него брал другую – со значением, чтоб заметили. Но замечали не всегда сразу. И дед опять злился, швыряя в соседних старичков короткие взгляды, а правый ус его потешно задирался вверх.

Дома дед прикуривал сам, чаще всего – от свечи в подсвечнике, с которым вечером долго ходил по квартире, стуча сапогами и не давая никому спать. Мы терпели, натянув одеяла под самые подбородки, поскольку знали, что скоро он успокоится у себя в комнате и будет курить там, сидя на кровати и вперившись в пустое пространство примерно в метре перед собой.

Впрочем, пустое условно – в этой пустоте жил своей приятно замедленной плавной жизнью голубоватый папиросный дым, а дед, наверное, за этой самой жизнью старательно наблюдал. Может, даже и записывал в еще одну тетрадку – но мы такой тетрадки не видели и потом, когда деда не стало, нигде не нашли. А не стало его по меньшей мере странно – он просто однажды не пришел домой.

Мы боялись, что с ним случился где-то на улице удар, но его коллеги по домино такой расклад решительно отрицали – они своими глазами видели, как дед пошел домой, как распахнул свежепокрашенную дверь в подъезд и скрылся за ней, возвращенной на место доводчиком.

На всякий случай мы позвонили в больницу, а после – в морг, но двухметровых стариков с оранжевыми усами к ним сегодня не поступало и не поступило ни завтра, ни послезав-

тра, ни потом. Мы обошли весь город, надеясь обнаружить деда Мишу без памяти, но живого и целого на какой-нибудь скамейке, но на скамейках сидели другие, совсем чужие деды – короткие и без усов.

Не зная, как с этим всем смириться, мы просто стали ждать, часами сидя у окна на кухне и листая дедову тетрадь с подсчетами. Прочитанные цифры ни на какие мысли не наводили, а только зря бредили нутро.

Дед не умер, знали мы, но здесь его нет, знали мы еще увереннее, но где он – мы знать не умели, и незнание это серьезно бесило. Дело даже и не в любви, а в том, что каждое предложение обязано на хвосте иметь точку, а в нашем точки не было – как будто челюсти заклинило на полуслове.

Мы тоже пристрастились к «Приме», но дедову коробку трогать не решились – она так и стоит, правда, теперь не на тумбочке, а у кого-то из нас в шкафу. Авоськами папиросы мы не покупаем, но каждый все равно тайком потрошит свою пачку и шепотом считает, будто бы сам процесс подсчета является ключом к особенной тайне деда Миши, – а мы все верим, что такая тайна есть – или, по крайней мере, была.

И никто никогда не признается другому и даже себе в том, что четко знает теперь, кем обернулся дед Миша, когда видит в прокуренной пустоте перед собой, как раздраженно задирается вверх дымный лихой ус.

Английский

Тетя Света жила совсем одна в крохотной квартирке на пятом этаже: две комнаты, первая из которых напоминала скорей короткий коридор к узкому окну, чем комнату.

Тетя Света не любила ее и старалась никого туда не пускать, ссылаясь на беспорядок. Но там – мы однажды подсмотрели – было пусто, тихо и темно: только ржавая раскладушка у правой стены и крепкий низкий стул у самого окна.

Тетя Света несколько лет назад похоронила мужа, и мы догадывались, что в этой комнате он как раз и жил перед самой смертью. Если бы нам не сказала мама, мы и не узнали бы никогда, что у тети Светы был муж, – сама она вела себя так, словно с самого начала своей жизни в качестве взрослой женщины была одна и никаких мужчин не знала. Детей у нее, насколько мы знаем, никогда не было, поэтому притворяться старой девой она могла достаточно легко.

Тетя Света работала в нашей школе учителем английского, и мы часто оказывались у нее дома – «тянулись за остальными», как она это называла. Учились мы сносно, но вот с английским случались проблемы – других учителей английского в нашей школе не было, потому все мы так или иначе со временем попадали в маленькие, но цепкие руки тети Светы.

Чужим детям она прощала многое, если не все, нам же

засчитывалась любая недоработка. Все мелочи, вроде бы тут же позабытые в классе, обязательно и неумолимо всплывали у нее дома, когда те из нас, кто уже вкусил английского, приходили к ней «тянуться».

На уроках она никак не подчеркивала нашего с ней родства, будто бы имея нас в виду совершенно одинаково вместе со всеми остальными охламонами, но мы-то видели то, чего не замечали остальные, мы чутко ловили самую незначительную перемену в ее настроении. Тете Свете вдруг становилось холодно, она начинала спокойно, но с силой растирать якобы заоченевшие пальцы, едва заметно горбилась, слегка пожимая плечами, словно бы в неосознаваемом, рефлексорном удивлении, и почти неощутимо, но все же смотрела мимо нас, нам за спину, но не в глаза.

Домой к ней мы шли так медленно, как только могли, однако не прийти было нельзя. Каждый из нас был на голову выше нее, а она походила больше на невзрачную старшеклассницу, чем на взрослую женщину и учителя, но мы тем не менее серьезно ее боялись. Частью этого страха был натуральный трепет восхищения и обожания, но какой школьник себе в таком признается?

Это теперь мы понимаем, что подпольно даже для самих себя любили ее и переживали из-за того, что она – наша тетка. Только любить мы хотели издалека и без надобности приходить к ней домой.

Квартира тети Светы нам не нравилась даже больше, чем

необходимость заниматься английским еще и за пределами школы, – этой квартире остро не хватало второго жилья. Мы всякий раз его ждали – буквально слышали шаги на лестнице и звяканье ключей за дверью, но эти звуки всегда превращались в другие, и никто не приходил.

Шаги оказывались спонтанными скрипами старых продавленных полов, а звякала, например, чайная ложка в пустом стакане, зачем-то сама по себе, без каких-либо усилий с чьей-нибудь стороны. Тетя Света всего этого как будто бы не замечала.

Она стояла у окна, скрестив на груди руки так, словно сама себя хотела обнять, но передумала на полпути, и смотрела на улицу.

Мы пыхтели вокруг стола за специальными тетрадями, каждый в ожидании своего невесомого подзатыльника, но тетя Света руки распускала редко и была чисто символически, только слегка обозначая действие. Но вот для нас ее призрачные подзатыльники были на самом деле единственным удовольствием в этой жутковатой квартире, и мы даже бывали расстроены, когда не получали их. Мы не то чтобы воцелели этих легких к нам прикосновений, но были в общем не против.

«Тянулись» мы долго, до самой темноты, и шли домой со звенящими больными головами, разговаривая между собой коротко и исключительно на английском, потому что все другие наречия начисто забывали, английский же становил-

ся для нас чем-то вроде нервного тика – мы ничего не могли с ним поделать, переполненные под завязку его словами.

Когда тетя Света вдруг потеряла свою обычную строгость и совсем перестала обращать внимание на наши провалы или успехи, мы поняли, что с ней случилась какая-то беда. Тетя Света теперь поила нас чаем и гладила сухими ладошками по щекам, про английский вспоминая с трудом и в упор не видя наши специальные тетради, а мы в это время жутко на самих себя свирепели, поскольку не умели прямо спросить, в чем дело.

Мы продолжали приходить, но сейчас это были уже просто гости, а не занятия. Английский отвалился потихоньку куда-то в сторону, на его место пришли торопливые беседы ни о чем. Правда, мы почти все время молчали, говорила всегда тетя Света – рассказывала сбивчиво какие-то должные быть веселыми истории из собственного детства, но нам было не по себе, и мы если смеялись, то чаще всего мимо. Не смеяться было нельзя – из уважения, конечно, но тетя Света, наверное, не замечала наших промахов и, в который раз перескочив на другое, продолжала с чуть отстраненной улыбкой.

Мы не знаем, успела ли она рассказать нам все, что хотела. Мы отказались целовать ее мертвую, хотя в смерти своей она ничуть не изменилась, только стала немного бледнее. Мы лишь попытались пожать ее тонкие детские пальчики, ставшие твердыми, как дерево, и не поддающимися прикос-

новениям.

Она и так была маленькой и хрупкой, а теперь ее почти совсем не было — мы с трудом различали ее, такую обидно прозрачную, в таком внезапно большом и тяжелом гробу.

Когда гроб вынесли из квартиры, в самой первой, много лет нежилой комнате с грохотом опрокинулся на спину старый, толстого дерева стул.

Варежки

Таня училась с нами в одной школе и в каком-то смысле была нам сестрой – ее папа много лет назад ушел от нашей мамы к Таниной.

Он, кстати, раньше часто ездил с нашим отцом на рыбалку, а потом перестал. Возможно, на последней из этих рыбалок они окончательно рассорились – точно мы не знаем, но постепенно дядя Лёша – так его звали – из нашей жизни выпал.

Лицо его мы забыли и готовы были вообще прекратить помнить, кто он такой и зачем, но слишком часто натывались на Таню, которая с каким-то злым упрямством всякий раз напоминала нам своего отца. Она не была на него похожа внешне – маленькая, с тяжелой круглой головой, смотревшая всегда настороженно из-под крупного лба, как будто бы голову ее постоянно тянет к земле.

А дядя Лёша был высокий, толстый и с длинным носом против Таниной конопатой кнопки. Дядя Лёша с чего-то взял, что все толстые люди веселые и добрые, и терпеливо старался сам таким быть, но получалось не очень, он замет-но нервничал и, нервничая, дико фальшивил, сыпал никому не понятными шутками и сбивался на блеянье вместо сме-ха. Мы легко замечали, когда он злился, из последних сил выдавливая из себя приветливые по форме слова, до хруста

переполненные едва сдерживаемым бешенством.

При нас он не сорвался ни разу, а с папой, видимо, поругался, не сдюжив. Папа человек едкий, не умеющий врать для дела, каким бы оно ни было, с папой вообще никто не мог ужиться, кроме нас и мамы. Мы привыкли и не обращали внимания – он все равно ничего нам не сделал бы, раз за все наше детство ни разу не поднял на нас руку.

Когда дядя Лёша исчез, мама взяла себе в привычку время от времени с явным удовольствием повторять, что, мол, как хорошо, что кончилась эта странная дружба. Повторяла вроде бы сама себе, но обязательно в папином присутствии, вскользь ударяя папу на первый взгляд безобидными словами, которые от многократного повторения набрали, однако, силенок и били все сильнее.

Таня не корчила из себя хохотушку, но не совсем понятной нам причине она считала себя нашим главным врагом и злилась на нас очень похоже на дядю Лешу, с теми же интонациями, хоть и без слов. Ходила за нами после школы по пятам, в пяти метрах, и мешала страдать разнообразной занятной фигней просто самим своим присутствием.

На нее невозможно было не обращать внимания. Она давила нас взглядом, таким же тяжелым, как ее аномальная голова. Стояла и зырила.

Мы до боли в животе хотели ее побить, но не решались – боялись дядю Лешу. Мы чересчур хорошо помнили, как дядя Лёша швырял старшеклассника, расквасившего Тане

нос, — пацан летал от лужи к луже грязным кульком, а дядя Лёша снова доставал его из грязи, встряхивал и тащил к очередной луже, в которую с силой вбрасывал уже почти нежи- вой кулек с глупыми костями.

Таня ходила за нами каждый день, по чуть-чуть сокращая дистанцию, и через какое-то время получилось так, что мы ходили уже все вместе — несмотря на мифическую вражду, в причинах которой мы так и не разобрались и решили просто ее аннулировать, упразднить за ненадобностью. И перестали помнить все недобрые взгляды в нашу сторону.

А потом и вовсе поголовно в Таню влюбились. И уже не понимали, как нам могла не нравиться ее большая голова — и злые глазищи, и конопатый маленький нос, и такие аккурат- ные детские ладошки, всегда чистые, но сильные, и низкая челка на лоб, чтобы прятать его.

Таня на удивление быстро и ловко бегала и мало чего бо- ялась. Говорить она умела, но не любила, и за это мы ценили ее еще больше.

Наша в нее влюбленность была совершенно невинного толка, поскольку как женщину мы Таню не воспринимали. И в смерти ее мы не виноваты, честно, даем зуб.

Конечно, идея пойти зимой на тарзанку была только на- шей, но мы же не заставляли Таню идти вместе с нами и с нами же на этой самой тарзанке болтаться над тонким еще льдом озера. Таня решила сама, почти без нашего участия.

Понятное дело, она сорвалась: варежки прилипли к пе-

рекладине, а Танины ладошки из них выскользнули. Таня прыгнула к озеру в темноту, а к нам вернулась одна только перекладина с налипшими варезками, без Тани.

Она упала как-то очень тихо – по крайней мере, мы ничего не слышали. Только когда сбежали вниз, ко льду, увидели в нем неровную темную дыру, над которой темнота подступающей ночи как будто бы сгущалась в непроглядное черное молоко.

Мы битый час елозили животами по льду, пытаясь хоть как-нибудь подтянуться к дыре, но ничего не получалось. После мы догадались позвать взрослых и, предельно сосредоточенные и серьезные, бежали к ближайшему работающему автомату, задубевшими пальцами выковыривая из карманов двушки.

Рыдать мы стали гораздо позже – когда в комнату к нам, притихшим от усталости и ошеломленным, заглянул отец, вроде бы такой, как обычно, но вдруг какой-то маленький и детский, с торчащим с затылка смешным хохолком. Посмотрел на нас, прищурившись, и вышел вон. А мы все поняли и взорвались плачем – отец будто бы всем своим видом разрешил нам снова быть детьми.

В школе долго шушукались про несчастный случай, в нашу сторону стараясь не смотреть. Учителя словно в упор нас не видели, но гнобить не стали. В общем, нам повезло – дядя Лёша не пришел нас убивать, чего мы, конечно, ждали и боялись. Он, как мы потом узнали, спешно уехал из нашего

города в иной, нам уже неизвестный.

Злополучную тарзанку мы срезали своими руками и никак не могли понять, что делать с этими дряхлыми палкой и веревкой. Остановились на огне. Костер получился хилый, жить не хотел и, если бы не таблетка сухого спирта, вообще сдох бы на половине дела. С горем пополам тарзанка перестала существовать.

Но вот непонятно куда подевавшиеся варежки снились нам иногда – вылетающими на перекладине из темноты. Розовые такие, совершенно девчачьи.

Пальцы

Вот этот странный, не похожий ни на кого из нас человек на фотографии – дядя Андрей. На самом деле он – брат мужа маминой двоюродной сестры, но мы не знаем или не помним слова, которым метят таких родственников, поэтому для нас он просто дядя Андрей.

Самый высокий, самый худой, с гладким голым куполом черепа – удивительно вытянутым вверх, будто неземной белесый овощ. Дядя Андрей был лыс, но лыс без достоинства, лыс беспомощно – лысина ему не шла, он ее жутко стеснялся и круглый год ходил в одной и той же зеленой шляпе из мягкого фетра.

Впрочем, шляпа ему тоже не шла – она слишком торчала над ушами, будто бы наполовину заполненная, например, ватой и потому до упора не налезаящая. Уши дяди Андрея были чересчур обыкновенными для всей остальной фигуры и своей заурядностью ее даже портили – какие-нибудь хрящеватые лопухи добавили бы к общей нескладности его организма последний курьезный штрих, и дядя Андрей стал бы, не сомневаемся, почти красив, а так он всегда казался нам немного незавершенным, как бы недорисованным – будто бы потерял что-то в себе по пути к нам.

Дядя Андрей никогда не курил, не пил водку и на семейных застольях до определенного момента сидел тихо, возвы-

шаяся над остальными на добрый метр и уложив костлявым ромбом вокруг почти пустой тарелки свои удивительные руки.

Казалось, что в каждой его руке по два локтя, настолько они были длинны. Тонкие белые пальцы его с небывало овальными голубоватыми зеркалами запредельно отполированных ногтей поражали наше воображение. Мы, рассеянные промеж взрослых за исполинским, еще с до революции столом, тайком сравнивали свои короткие корявые – с его паучьими бамбуковыми, немного, наверное, этой паучести опасаясь, но не сильно, поскольку опаску легко побивало восхищение.

Дядя Андрей был музыкантом. Играл он необыкновенно лихо и лучше всех на редком для наших краев инструменте – аккордеоне. Мы знали гармошку, знали баян – сами пошли потом на него в музыкалку, но аккордеон впервые увидели в руках дяди Андрея.

На застолья непьющий дядя Андрей попадал исключительно из-за своего таланта и диковинного инструмента. В нашей семье никто не умел. Посмотрите на пальцы наших взрослых, жадно вцепившиеся в стаканы, – такими сардельками непросто хотя бы ключи взять из кармана, куда там играть.

Все наши были коротышки строители, жесткие по усталости и страшные по пьяни, но отходчивые и вполне душевные когда надо. Муж маминой двоюродной сестры, дядя Степан,

сильно походил на дядю Андрея, но был как-то пониже и попроще и быстро умер от туберкулеза. Никто сначала не понимал, почему и зачем нужны эти люди в нашей семье, — до первого большого застолья, на которое длинные братья явились с потертыми черными футлярами.

Андрей и Степан знали все песни вообще из тех, что были в ходу в то время. Андрей только играл, а Степан еще и пел, аккомпанируя себе на балалайке — инструменте для нас привычном, но в руках дяди Степана расцветавшем звуками из какого-то другого, большого и несоразмерного с нами мира.

После первой же песни все наши поняли, за что тетя Ира, мамина двоюродная сестра, вышла замуж — за музыку! — хотя, конечно, вряд ли кто-нибудь из этих крепких недоросликов смог бы такое сформулировать — и тетя Ира в их числе.

Андрей и Степан оба работали в одном оркестре народных инструментов, хотя мы, если честно, не совсем понимали, каким боком в эти народные вписывается аккордеон, но долго над этим не думали, предпочитая больше слушать, чем думать.

Без наших музыкантов теперь не обходился ни один праздник, а когда дядя Степан умер и наш личный маленький оркестр осиротел ровно на половину, дядя Андрей постарался быть за обоих и начал петь, играя при этом в два раза кудрявее, но вышло как-то не очень. Пел дядя Андрей глубоким басом против мягкого тенора дяди Степана, а от баса пахло церковью или оперой, но никак не более доступными

неглубокой душе наших недомерков народными инструментами.

У наших были очевидные проблемы со слухом при жгучей любви к музыке, но мешать дяде Андрею никто не пытался и замечаний его басу не делал даже в пьяной свирепой дури. Дядя Андрей догадался сам и петь перестал. Просто играл, мастерски добавляя партию голоса поверх остального звукового массива какими-то потайными для нас клавишами аккордеона.

Уходил дядя Андрей всегда немножко раньше остальных и, впрочем, по другим каким-то поводам обычно не появлялся, будучи человеком вне музыки замкнутым и диковым. Мы редко слышали его голос, на наше «здравствуйте, дядя Андрей» он обычно только кивал длинным замедленным кивком, будто бы аккуратно клюя крупным белым носом воздух перед собой.

Руку взрослым подавал неохотно, поскольку наши привыкли давить и жать чужие пальцы как в последний раз и скромных бледных рукопожатий категорически не понимали, но к фантастической ладони дяди Андрея быстро приноровались и старались с ней не забываться. Дядя Андрей руку другому не жал, а осторожно обнимал, совсем чуть-чуть надавливая и стесняясь своих необычных пальцев.

Умер он тоже необычно – его ударил сзади по голове боковым зеркалом большой красный автобус, из-за гололеда не вписавшийся в предусмотренную остановку.

Дядя Андрей долго лежал в больнице, тревожно уставясь в потолок из-под сероватой шапки бинтов, а пальцы его лежали поверх одеяла – неподвижные и совершенно мертвые. Он умер, так и не сумев никого из наших узнать и превратившись в окончательный бамбуковый белый скелет с глубоко запавшим взглядом.

На поминках было непривычно тихо – ни одной, даже удобной к моменту печальной песни. Аккордеон тетя Ира через несколько дней продала за большие деньги.

Двоеточие

Нас и сейчас чересчур много, а он всегда был один на любом фоне, кто бы в качестве такого фона ни выступал – мы или же какие-нибудь его унылые одноклассники, а потом и сослуживцы. Даже звали его не так – Роман, когда все остальные были либо серёжи, либо саши, либо вообще димы.

Рома – старший, вроде как свой, но Рома при этом почему-то отдельно, как будто и не сын наших с ним родителей, а некий лучезарный подкидыш. Он на голову выше, на голову умнее, на несколько обидных метров дальше, чем мы, постоянно плетущиеся в самом хвосте конопатые коротышки с обыкновенными круглыми головами стандартных троечников.

Наша семья с самого начала делилась на три неравные части: папа с мамой, потом Рома, а уже совсем потом – мы, плотной кучкой, едва-едва разделенные между собой годом-двумя, – при этом самой внушительной частью был, конечно, Рома, его бы в этой классификации следовало ставить на первое место, а нас и вовсе не вспоминать, настолько мы были невзрачны и одинаковы – грубо сработанный задник, не более.

О нас, детях наших родителей, знали, что мы – это «Рома и эти», которых зазорно помнить по именам, можно только постоянно путать, не умея даже толком подсчитать, сколько

их там еще, кроме Ромы. Рома был легален, мы – с большой натяжкой.

На всех фотографиях Рома смотрит куда-то в сторону, когда все прочие сообща разглядывают объектив. На последней своей фотографии Рома вообще никуда не смотрит, поскольку лицо его наглухо закрыто отрезом белой ткани.

В морге очень старались, но получилось плохо – и не потому, что в нашем городе нет специалистов по приведению умерших граждан в должный вид перед последним их явлением родным и близким, а просто характер ранения был такой, что даже самый-самый специалист опустил бы руки. Не из чего было собирать.

Рома принял выстрел в упор из двухстволки. Смерть мгновенная, не мучился, но лица, с которым можно было бы попрощаться, нет, и Ромы тоже нет – слишком рано, мы еще не успели хотя бы начать понимать, кем он был вообще. Те, кто знал его случайно или по обязанности, ответят, наверное, что Рома был хорошим милиционером, если таковые в принципе возможны.

Хорошим, но не лучшим, конечно. Он стал бы и таким, но выстрел из двух стволов поставил на нем и его желаниях и возможностях жирное двоеточие, за которым, вопреки правилам любого языка, не оказалось ничего, кроме постоянных теперь тишины и пустоты тут же схлопнувшейся до предельного минимума Роминой комнаты.

Мы долго не могли зайти в нее, отважились только на со-

рок первый день – и поразились тому, насколько она на самом деле маленькая. Маленькая и нежилая, только нежилая уже совсем по-другому, не так, как при РOME.

Рома в своей комнате спал – не больше пяти часов, потому что спать не любил, искренне веря в то, что сон – занятие совершенно бессмысленное, обыкновенное убивание времени, и если бы Рома мог, то завязал бы со сном навсегда, но физиология брала свое, и Рома крайне неохотно ей подчинялся – всегда с веселым ворчанием, начисто отрицая эту самую физиологию и ссылаясь на лень, в которой якобы все и дело.

Утренний Рома носился по квартире с увесистой чашкой кофе в одной руке и с очередным учебником – в другой, а мы в эти минуты ненавидели старшего брата максимально черной ненавистью – еще и потому, что читал он только вслух и не бубнил при этом, а почти даже пел.

Мы затыкали одно ухо одеялом, накрученным на кулак, а второе изо всех сил прижимали к подушке, но помогало не очень – и приходилось уже самим вываливаться в отнюдь не гостеприимную реальность пяти утра любого дня, каким бы он ни был – пусть праздничным, пусть простым и плоским, без разницы.

Рома, конечно, был нам рад. На кухоньке топтались едва-едва адекватные так дерзко и резко наступившей яви родители, стояли в очереди в ванную мы, полуодетые и чуть живые, а Рома на всю квартиру занимался уроками.

Мы от таких каждодневных его занятий готовы были выть, но если Рома вдруг уезжал на несколько дней, мы в первые дни из этих нескольких просыпались так же рано, но в пустоту. Ромы было чересчур, но без него почему-то не было вообще ничего, даже нас.

Мы становились полупрозрачными и тупо шатались по внезапно такой огромной и тихой квартире. Папа с мамой в такие утра сидели на кухне по разные стороны стола, молчали, и лица у них делались напряженные и почти злые, а мы, не умея мириться с тишиной такого масштаба, нарочито ссорились между собой и, бывало, дрались, занимая и отвлекая себя таким образом на все ранние часы.

То, что Рома пошел в милицию, вряд ли удивительно: он умел, но сильно не любил учиться и, родительским настойчивым по поводу института намекам и пожеланиям вопреки, пошел сначала в армию, а потом и в органы. Ему нравилось. Теперь по утрам он открыто пел, поскольку, хоть и сгинули учебники, привычка заполнять утреннее пространство звуком осталась.

Только не нужно думать, что Рома был прямо совсем одуванчиком – он бывал резок и жёсток вплоть до жестокости, но проблема в том, что таким его помнить нам едва ли хочется. Мы помним и понимаем его исключительно утренним, пусть даже и сквозь наши гудящие от недосыпа головы.

Мертвого Рому память минует ради простейшего самосохранения, рассеивая укрытую белым горизонталь нашего

брата в лохмотья плохо запомненного сна, такой Роман – без лица, с одними только пожелтевшими руками поверх оставленной груди – из области разве что дурных видений, невсамделишный, плохо придуманный и чужой.

Сейчас уже не важно, что застрелил его спятивший от иррациональной зависти сослуживец, – мы-то знаем, что смерти никакой нет, есть только особый двойной щелчок выключателя, после которого из отдельно взятой жизни теплым соком выходит ее свет – и больше его никогда не бывает, как ни щелкай. Утро беспощадно чернеет, а комната брата сжимается до размеров обувной коробки. Игрушечные стол, стул, шкаф – и кровать, много лет ночующая сама по себе – в переполненной смутными веточками невозможного теперь будущего пустоте.

Петь по утрам мы так и не отважились.

Я видел собаку

Собака не был сейчас настроен возвращаться к себе, но здесь жевательного табака, к сожалению, не продают, здесь не очень уважают даже курительный, а сил терпеть уже не было, слюна выделялась впустую, и Собака посекундно сглатывал, не решаясь плюнуть – мало ли как у них тут с этим.

С местными органами Собаке пока что не довелось столкнуться, чему он был, конечно, рад, но всякой радости бывает предел, особенно когда так остро не хватает терпкого комочка за щекой – порой Собака просто не выдерживал и рассыпался сложносочиненными проклятиями в собственный адрес, горячо ненавидя себя за дурацкую привычку, но всегда вовремя спохватывался – на фоне этой вроде бы справедливой ненависти черной свечкой возникал Славный Парень, и Собака, всякий раз вздрогнув, тут же выпадал в жирный поток благодарностей в адрес Конструктора – хотя Конструктор даже если и помог, то, конечно, косвенно.

Собака славился поразительным умением заранее чутя любую беду – на то он и Собака, чтобы знать наизусть ее дымный запах. Кстати, именно поэтому Собака и не курил – берег нос, за который любой из попрыгунчиков легко расставался с приличными деньгами – никому не хотелось, однажды случайно попалившись на какой-нибудь ерунде, застрять «не дома» на долгие годы.

Собаку брали с собой в рейды – внимательно нюхать каждую ситуацию и сигналить, если вдруг что. Работа хорошая, но нервная, поэтому Собака подсел на табак, о чем после серьезно пожалел – даже в виде жвачки табачок дурно влиял на обоняние. Собака прекрасно понимал, что чувствует не тем носом, который у него на лице, но перестать бояться потерять нюх никак не мог, не умея не связывать в уме нос физический с носом, скажем так, астральным.

Впрочем, проколов пока не случилось, с репутацией все было в порядке, и Собака мог в который раз с удовольствием облегченно вздохнуть – нос не подвел его и тогда, Славный Парень умер один, сам, не потянув за собой Собаку и всех остальных.

От Славного Парня всегда попахивало дымком, а в тот раз натурально завоняло паленой резиной: «Ребята, все чистое, проверенное, от моего знакомого – бояться нечего, не слушайте вы Собаку!»

Ребята бьющегося в истерике Собаку все же послушали, за что потом не один раз искренне благодарили – его и Конструктора за уникальный Собакин дар, а Собака после смерти Славного Парня употреблял только табак. Которого здесь – какая досада – не продают и, кажется, вообще не знают, зачем он такой нужен.

До ближайшей дырки даже на транспорте час, не меньше, встреча с Кроветкой через три часа на Треугольной площади, которая отсюда в пяти минутах – тратить два с половиной

часа на добычу какого-то сраного табака ой как не хотелось. И так весь день на ногах – сначала медкомиссия дома, с ней Собака дотянул до последнего, а под вечер вдруг подвернулась работка – на этот раз просто курьером. Работка пахла вполне ничего, а деньги давали на удивление внушительные, так что отказываться Собака не стал, хоть и был выжат и туп от бесконечных блужданий по этажам поликлиники.

Креветку можно было бы ждать в ближайшем кафе с видом на площадь, попивая местный кофе и приводя в порядок организм и мысли, – если бы не табачная жажда. Собаку ошутимо трясло, он не мог сосредоточиться, изо рта пошел едкий запах, на лбу ртутными шариками крупно выступил пот. Сидеть Собака в таком состоянии не мог – он барабанил пальцами по столу, нетерпеливо перебирал ногами, постоянно оглядывался. В общем, конкретно привлекал внимание.

Поэтому Собака заплатил за недопитый кофе и отправился гулять, хотя на прогулку это походило мало – он скорее бежал, чем шел, глубоко засадив руки в карманы штанов и нелепо подскакивая на поворотах. Продавцы в табачных киосках странно на него смотрели и кивали отрицательно, Собака нервничал пока еще внутренне, сдерживаясь из последних сил и не позволяя себе на кого-нибудь сорваться, но никаким дымом не пахло, и, если бы мог, Собака расслабился бы, но не хватало главного в его жизни расслаблятора – жевательного, мать его, табачка.

Время шло, а Собака никак не мог решить, что ему делать.

«Вот же debil, — думал он, — ну почему нельзя было взять с собой сюда? На что рассчитывал?» Самый близкий, вроде бы соседний по ветке мир очень часто оказывался вдруг невероятно далеким в простейших, казалось бы, мелочах. В одном, как помнил Собака, не знали безопасных бритв, в другом никогда не пользовались рожками для обуви, а в третьем не понимали, что такое лошадь, накрепко привыкнув, что всадник — это тот, который на страусе.

В этой же реальности не было жевательного табака. «Как нарочно, — думал Собака, — как специально. Ну спасибо тебе, дорогой Конструктор, за твой специфический юмор — в этот раз как никогда смешно».

Терпеть уже не получалось — Собака был готов жевать обыкновенный табак, лишь бы не мучиться.

В конце концов Собака не выдержал и запрыгнул в проходящий мимо трамвай. В трамвае на Собаку стали откровенно пялиться — особенно широкий рыжий мужик в рыбацких сапогах. На плечо мужик взгромоздил гигантский грязный коловорот, а между ступней зажал небольшой футляр от неизвестного Собаке музыкального инструмента — футляр, по всей видимости, должен был изображать ящик с рыбой, но получалось у него плохо.

Мужик не унимался и упорно сверлил Собаку глазами, хотя все остальные порастеряли к нему прежний интерес и лениво поутыкались в газеты. Собака начал опасаться, что мужик на сверлении глазами не остановится, а снимет с плеча

коловорот и начнет дырывать им Собаку уже взаправду.

– Чего надо? – выдавил Собака, стараясь не отводить взгляд – от мужика душно воняло колбасой с чесноком, но никаких дымных примесей, поэтому Собака позволил себе немного повыпендриваться, чему, конечно, способствовала еще и общая раздраженность, замешанная на абстиненции с легкой примесью усталости.

Мужик вдруг широко заулыбался щербатым ртом, рыжая борода его при этом расползлась в стороны.

– А я смотрю – ты или нет? – Мужик спустил коловорот с плеча на пол и прижал к ноге. – Думаю, или ты, но сильно похудел, или не ты, но тогда так похож на нашего Скрипача, что...

– На кого? – перебил мужика Собака. – На какого скрипача? Я никогда ни на чем не играл, тем более на скрипке, – вы меня явно с кем-то путаете.

– Узнаю брата Скрипача, – засмеялся мужик и полез обниматься.

Тут Собака, едва не раздавленный могучими обнимашками, понял, в чем дело, и в животе у него заворочался холодок. Рыжий мужик случайно напоролся на дубля.

«Случайно», – мысленно покатал на языке неприятное слово Собака.

В этом мире жил некто Скрипач, версией которого в своем мире был Собака. Ну или наоборот. Собака технику безопасности попрыгунчиков всерьез уважал и старался в лю-

бом случае аккуратно ей следовать, поэтому сейчас буквально заставил себя так же широко улыбнуться рыжему мужику в ответ и слегка похлопал его необъятную спину ладошками.

– А-а, родной!.. Как там тебя?..

– Неандерталец, – подсказал мужик без всякого недоверия.

– Точно, Неандерталец! Привет, привет, дорогой, а я-то тебя вообще не узнал, так ты поменялся.

– Это я поменялся? – захохотал мужик. – Ты на себя посмотри, засранец!..

В обнимку они вышли из трамвая прямо в какой-то незнакомый Собаке бар. Неандерталец кивнул официантке, и та убрала с одного из столиков табличку «Зарезервировано». На столик тут же отправился пошарпанный футляр, а коловорот внезапный новый знакомец Собаки осторожно прислонил к стене за своим стулом.

– Что-то я не узнаю этот бар, – довольно-таки фальшиво удивился Собака и коротко глянул на часы. «До встречи с Креветкой еще почти два часа, как-нибудь успею, если вовремя отделаюсь...» И Собака недоверчиво посмотрел на Неандертальца. Тот сосредоточенно копался в карманах замызганной куртки. Потом как будто бы очнулся, замедленно уставился на Собаку и просиял.

– Да ты чего, это же «Эшафот», Скрипач, что с тобой? Да ты же первый здесь клиент – я тебя не узнаю прямо. Эй, малышка, карамельного Скрипачу, за мой счет! – крикнул

мужик официантке, та вся зарделась, но Собаке улыбнулась, кивнув, и мигом упорхнула в низкий проем справа от стойки. – Мы с тобой, Скрипач, тут столько чудесных часов провели, а ты говоришь... Ты заболел, да?

Собака вспомнил про сегодняшнюю поликлинику и на автомате отвесил уверенный кивок.

– Что-то серьезное, брат? – нахмурился мужик.

Собака так же уверенно отрицательно помотал головой, и Неандерталец снова расцвел улыбкой.

«А ведь он и правда – Неандерталец, – подумал Собака, вспоминая картинку из учебника истории. – Низкий, но крепкий и широкий – это называется „коренастый“, а еще рыжий. Ну просто вылитый тупиковый гоминид с картинки», – улыбнулся Собака.

Неандерталец эту улыбку истолковал по-своему.

– Ну вот, наконец-то отпустило тебя! Узнал же? – Собака, с силой удерживая улыбку, отвесил очередной глубокий кивок. – Сейчас, дорогой, мы с тобой грохнем по кружечке карамельного, – но сначала ты, мне пока нельзя, а потом поедем ко мне.

– Я... – начал было Собака, но Неандерталец неистово закрутил исполинской головой, здорово напоминая Собаке старого рыжего пса из детства, которого сожрали бомжи-корейцы. Сначала, правда, долго мучили, накачивая связанное по ногам животное велосипедным насосом, запихнув насос глубоко в...

Собака вздрогнул и отмахнулся от жуткого воспоминания рукой, и собственная его маленькая фигурка, подглядывающая за трагедией сквозь дырку в заборе, начала потихоньку стаивать.

– Ты мне тут не махай, – рыкнул рыжий мужик, опять на свой лад толкуя судорожное движение Собаки. – Я сказал – поедем, значит – поедем. Мы с тобой сколько лет не виделись?

– Э... Пять? – предположил осторожно Собака, принимая из рук официантки увесистую кружку с темным пивом.

Официантка, разворачиваясь, намеренно пихнула Собаку грудями в лицо, на что тот среагировал рефлексивно, но точно – мазнул ее ладонью по заднице. Неандерталец вдруг залился краской, и улыбка его из перманентно приветливой плавно перетекла в смущенную. Собака не стал оборачиваться, чтобы проследить реакцию официантки, – он приняховался.

– Да зачем пять? Пять – это много. Три всего, – успокоился вдруг Неандерталец, потух и оплыл.

«Наверное, – подумал Собака, – к таким перепадам его настроения нужно просто привыкнуть, – но тут же одернул себя и обругал: – Ты не Скрипач, не забывайся, это тебе карамельное бьет в голову, сейчас ты придумашь причину и свалишь, потому что время идет, и пусть за табаком ты уже не успеешь, но встречу с Кроватькой пропустить нельзя».

– Ты пей, пей, – устало выдохнул Неандерталец, и Собака

вдруг все понял. Рыжий мужик отыгрывал для чьих-то глаз какого-то персонажа, по всей видимости – шумного полупьяного рыбака, а теперь эти глаза остались где-то за стенами «Эшафота», и Неандерталец позволил себе расслабиться. Собака улыбнулся: как до него сразу не дошло – кто ж это ездит на рыбалку с коловоротом в июле?

Он хорошенько приложился к кружке и осмотрелся. Слева от стойки была низенькая сцена, отдаленно смахивающая на эшафот. «А, так вот почему», – кивнул сам себе Собака. На эшафоте громоздился громадный облезлый пенёк, из которого криво торчал грубо оклеенный серебряной фольгой ненатурально большой топор. Вокруг пня ползали полуголые дамочки, оттирая черными тряпками какие-то сомнительные пятна.

– Сначала дело, – подал голос окончательно раскисший Неандерталец.

– Дело? – Собака отвернулся от сцены и посмотрел поверх футляра на Неандертальца. Тот почти спал – или же так казалось. Голова его тяжко свесилась на плечо, изо рта выскользнула на куртку слюдяная струйка слюны.

Собака начал было привставать, ловя как будто бы очень удачный момент, чтобы смыться, но мужик разлепил веки и взглядом усадил Собаку на место.

– Куда?

– В туалет, – выкрутился Собака и встал в полный рост. – Я сейчас.

– Постой. Я же тебе главного не показал. Одну минуту.

– Так я же сейчас...

– Одну минуту. Всего одну.

– Ладно, – сдался Собака и снова сел.

– Ты знаешь, я так устал от этой работы. Каждый раз новая дурь. Сегодня они меня вообще полным идиотом вырядили. Ну ты сам подумай, какой придурок попрется на подледный лов летом? – Неандерталец потихоньку возвращался в себя. – Ну, да ты понимаешь. А помнишь, как они меня в оперного певца превратили? – Собака непонятно мотнул головой – то ли да, то ли нет, но мужик не обратил на это никакого внимания. – Ходи, говорят, и пой время от времени, как будто тренируешься. Кретины, честное слово.

Собака виновато улыбнулся, как бы намекая, что ему очень-очень надо, и тут Неандерталец встрепнулся и ожил весь.

– Да, прости. Сейчас. – Он подвинул к себе футляр, громко бряцнул замками и медленно поднял крышку, с недоверчивым прищуром заглядывая под нее. – Нормально. Смотри, – и он, хлопнув крышкой, толкнул футляр к Собаке.

Собака развернул футляр к себе и, ухватив крышку двумя пальцами, как можно осторожнее потянул ее вверх. Под крышкой оказалось пухлое гнездо из ваты и сена, в котором уютно спал крохотный чепрачный тапир, жуя во сне мясистые розовые стебли неизвестного Собаке растения.

– Это кто? – изумился Собака.

– Тапир, – ответил Неандерталец и, не сдержавшись, прыснул в кулак.

– Он какой-то маленький. – Собака отхлебнул еще пива и снова посмотрел на тапира.

– Да, уменьшенная копия. Его потом увеличат.

– Зачем?

– Хотел бы я знать. Но мне, конечно, никто никогда не скажет – зачем все это и почему. Взял, передал, получил деньги. Вот и вся моя работа. Ну, и еще пару часов попозорился, да.

– Это очень странно. – Собака рассматривал тапира, забыв про все на свете. «Уменьшили? Но как? И кто? На кого работает этот подозрительный рыжий? Куда я вляпался? И почему я до сих пор ничего не унюхал?»

Собака пошевелил ноздрями, но от тапира пахло неожиданно клубникой. Паника колючими бабочками ползла из желудка Собаки к его горлу.

– А я почти привык, – вздохнул Неандерталец и посмотрел на сцену. Собака с трудом оторвал глаза от тапира и тоже посмотрел на сцену. – Может, они в нем что-то плохое перевозят, мне-то что?

– Что-то плохое? Что именно? – Собака заметно опьянел и с трудом удерживал во внимании нить происходящего.

– Да ничего, это я так.

– Неудачный пример, – сокрушенно покачал головой Собака.

– Неудачный, – согласился рыжий.

На сцене те же самые полуголые девицы ловко монтировали ударную установку. Пня с топором уже не было, на его месте смутно знакомый парень возился с микрофонной стойкой. Собака присмотрелся и обомлел – это был... Славный Парень, без вариантов. Только живой. В его гладко прилизанных гелем волосах застряла какая-то сверкающая штука-вина.

– Это кто? – выплюнул Собака, едва-едва ворочая отяжелевшим языком.

– Эти, что ли? – Неандерталец скривился. – Группа «Диадема», хрен бы их взял, педиков несчастных. Они тут уже второй месяц почти каждый вечер выступают.

– А почему педиков? – Собака с нарастающим ужасом смотрел на воскресшего Славного Парня и никак не мог поверить, что это всего лишь дубль. Слишком похож, так не бывает. Одно лицо. И хоть опыт работы с попрыгунчиками подсказывал ему, что бывает еще и не так, Собака чуть не завыл.

– Ну ты посмотри на них. Посмотри на этих, которые барабаны собирают, не замечаешь, что ли? Это же мужики! – Неандерталец несколько раз возмущенно сплюнул на пол, не замечая, как чернявый бармен, перегнувшись через стойку, грозит ему узловатым кулачком.

Собака присмотрелся еще пуще и вдруг словно прозрел: над аппаратурой колдовали широкоплечие, голенастые молодые парни с узкими задницами, по какой-то досадной

ошибке облаченные в яркие женские тряпки. Туфли на шпильках сорок пятого размера! Мама!

Собака схватил кружку, опрокинул остатки пива в рот и закашлялся, поперхнувшись. Славный Парень повернулся на кашель и заметил Собаку. Тот попытался привстать и плюхнулся обратно на стул.

Неандерталец крепко спал, гневно похрапывая. Тапир проснулся и обнюхивал малюсеньким хоботком пальцы Собаки, которые тот неосторожно запустил прямо в футляр.

Время понеслось скачками, схлопывая по пути крупные куски самого себя.

Вот только что же ребята в женских шмотках монтировали аппаратуру – и вот они уже стоят на сцене с инструментами и фигачат что-то невыносимо тяжелое, а Славный Парень, в обыкновенных джинсах и клетчатой рубашке, разве что с диадемой в волосах, извивается вокруг стойки и неразборчиво визжит в микрофон.

«Он не изменился», – думает Собака странную мысль и поражается убойной крепости местного пива. Неандерталец, который и не пил вовсе, спит лицом в стол, как мертвецки пьяный, чему Собака почему-то уже не удивляется.

Собака смотрит на Славного Парня и видит тощего черного кадавра со скачущей челюстью, который длинным обугленным пальцем кажет прямо Собаке в лицо.

– Наша следующая песня для тебя, Скрипач! – верещит кадавр и машет Собаке обеими руками. Собака вяло отвеча-

ет правой – левая расслабленно ласкает тапира.

Один из парней на шпильках вынимает из-за спины протяжную стрелу смычка и начинает пронзительно возить ею по струнам электрогитары. Славный Парень беснуется с невозможно серьезным лицом, коротко повякивая в микрофон. Время от времени больно взрываются барабаны – Собака чувствует, как вылетают из зубов пломбы, и пытается сплюнуть их на пол, но никаких пломб, конечно, нет.

– Ты можешь не курить? Я очень прошу, – поворачивается Собака к Неандертальцу, но тот не курит, а крепко спит. – Кто тут курит? – мямлит Собака. – Не курите, пожалуйста, я не выношу табачный...

Собака не договаривает, поскольку в этот самый момент уставший от прикосновений тапир больно кусает его за руку.

– Твою мать! – хрипит Собака, падая на пол. Из крошечной ранки на запястье быстрыми толчками выпрыгивает неожиданно ловкая темная кровь.

«Это ловушка! Это была ловушка! – бьется в угасающем мозгу Собаки клейкая жилка. – Ловушка! Ловушка. Ловушка...»

Последним в этой жизни Собака видит лицо Славного Парня, вытянутой луной выплывающее из-за периферии стремительно сужающегося сознания. Удивленно распахнутый рот трупа сменяется теплой улыбкой, и финальные слабые огоньки в голове Собаки регистрируют вместо угольного лица Славного Парня бесконечно светлый и такой род-

ной лик долгожданного Конструктора.

– Мне... не понравилась... твоя... шутка... – хрипит Собака стремительно твердеющим горлом, а из носа его густо валит плотный седой дым.

Потолок

Позвонил домашний медиум и сказал, что следует опасаться обрушения потолка. но не уточнил, какого именно.

может быть, подумал Собака, он имел в виду, что я достиг определенного потолка в своем развитии и мне следует приостановиться? иначе все мои знания и умения задавят меня или просто напробивают во мне ощутимых и несовместимых с жизнью дыр?

Собака сел в кресло и стал внимательно разглядывать потолок. здесь подвесной. тонкая мембрана какого-нибудь винила, или из чего там делают подвесные потолки. если этот обрушится, если он вообще может именно обрушиться, то разве что укутает, обовьет, изобразит саван, а на этот случай у нас в кармане острый нож. кесарево сечение изнутри внезапной утробы. а! а! и а! и вышел наружу.

нет, речь была об обрушении. значит, может тот, который там, за пленкой. тот, который страшный, щербатый, со ступенькой – строители не отважились за него взяться и выровнять. легче закрыть пленочкой. сделать вид.

пленка неприятно напоминает чей-то бледный живот, такой же податливый, но натянутый. как будто живешь под брюхом невидимой лысой собаки, а лампочки эти круглые, крохотные светильнички, вмонтированные в белесую плоть, – соски.

и вот когда-нибудь псина, под которой проходит вся моя маленькая жизнь, думал Собака, забеременеет. и потолок провиснет под весом маленьких новых собак, а после они посреди ночи, например, с грохотом выкатятся из стены и примутся зябко скулить, а ты, думал Собака, перепуганный, будешь сидеть в одеяле, как в домике, высунув нос и глаза в окошко, и не знать, что делать, как топить этих гигантских щенков, пока они сами не утопили тебя в слюне и прочих скользких отходах жизнедеятельности.

Собака еще раз глянул на потолок и представил себе уродливо отвисшие соски-светильники, в которые неприятно врезаешься головой, а они обливают тебя терпким, молочным светом.

тьфу, плюнул Собака не совсем фигурально и попал себе на штаны. расстроился. подумал о салфетках и о том, что никаких салфеток дома нет. есть туалетная бумага. но за ней нужно идти в туалет, а это долго и вставать из кресла утомительно и как-то даже дождливо — так ты выходишь из дома в октябре, поленившись взять зонт, стоишь на остановке, с которой для ремонта сняли крышу, в тебя со всех сторон, думал Собака, бодается дождище, а куртка у тебя совсем говно, ветровка, промокла сразу же, а в ней телефон, который приходится прикрывать рукой — и хочется проверить, а нельзя, потому что...

тут Собака случайно вытер плевком ладонью и потому выпал из развернутой метафоры, неловко споткнувшись умом

и чувствуя, как обидно клацнула этого самого ума челюсть. черт с ним, с подвесным. никакое не брюхо.

по потолку, как будто бы назло, с медицинским хрустом прокатилось нехорошо похожее на гигантскую блоху насекомое. Собака представил, как сейчас из стены высунется белая голая лапа и почешет потолок.

нет, нет, помотал головой Собака, я рассредоточился, это не дело. ситуация серьезная – потенциальное обрушение. тоже своего рода беременность и потом роды. родится беда. возможно. а возможно, и нет.

кто он такой вообще, этот медиум? – подумал Собака, но тут же убоился собственного сомнения.

всякая плоть – трава, не совсем ясно напомнил он себе о чем-то из прошлого, очертания чего уже почти стерлись, и вывалился из кресла на ковер. кресло было живое, напоминало чрезмерную желтую грушу и любило отнюдь не всех в этом доме. Собаку так точно нет.

на ковре, под которым струился на месте косыми плитками ламината пол, было хорошо и уютно. ковер тоже был чьим-то брюхом, какой-то другой собаки, навсегда в жесте окончательного доверия оставшейся лежать на спине с открытым всем ветрам брюхом.

Собака, насколько мог, обнял пол и блаженно застыл. но вдруг затылок Собаки в приступе кромешного ужаса пошел складками: а ведь пол – это же чей-то потолок! внизу кто-то, закрепляя истинность догадки, приглушен-

но чихнул. потом еще раз, но уже в другом месте. и контроль-
ный, где-то совсем далеко, может, на кухне, в реальность ко-
торой Собака не очень и верил.

ужас прокатился по телу Собаки от затылка до поясницы,
после устал и перестал быть ужасом, трансформировавшись
в привычную тревогу. так, привычно тревожась, Собака не
заметил, как уснул.

во сне он был человеком из другой жизни, который ехал
куда-то в хрупком вагоне метро, а вагон катился на цыпоч-
ках по высокому, очень высокому мосту из тонких металли-
ческих веточек, у вагона не было крыши, и в небе аскетич-
ного осеннего цвета Собака наблюдал крохотный, сделанный
из стекла и света самолетик.

за самолетиком делился надвое набухающий белым след.
неба становилось все меньше, белого следа – все больше, а
на стекле в дверях вагона серые буквы складывались в устой-
чивое наставление: «не опасаться».

Собака подумал чуть-чуть и весело кивнул, согласившись.

О настоящем «Ч»

«Безумная радость овладела Алексеем. Весь свой скорбный путь мечтал он убить зверя или птицу. Сколько раз вынимал он пистолет и прицеливался то в сороку, то в сойку, то в зайца и всякий раз с трудом преодолевал желание выстрелить».

Собака скитался по остановке, раз за разом прокручивая внутри себя эти три предложения.

Никто бы не сказал, что было холодно, но Собака зяб, ввинчивая руки в карманы куртки и наклонившись слишком низко. Пофигу, все равно никого нет.

Транспорта тоже нет.

Собака машинально выдернул из кармана левую руку и посмотрел на голое волосатое запястье, на котором не было никаких часов. Значит, часы он тоже утратил. Через дорогу по тротуару прошел какой-то темный мужчина, ровно, но медленно, и Собака, распахнувший было рот в намерении спросить о времени, клацнул зубами и отвернулся.

Пусть будет троллейбус, пусть будет троллейбус. Пусть будет обыкновенный синий минский троллейбус с грохочущими дверями и замызганными сиденьями.

Давно хотелось сесть, но скамейку на остановке Собака игнорировал. На скамейках сидят и даже спят бомжи, и пусть сейчас Собака сам от бомжа отличался мало, но эта

грязь случайная, вынужденная и своя.

Собака в очередной раз попытался отряхнуть куртку, но пятна крови не отряхиваются, нет. Собака не видел себя в зеркало, но надеялся, что под носом у него таких пятен нет. Он потрогал верхнюю губу – губа и губа, целая, под ноздрями вроде как корка засохшей крови.

«Безумная радость овладела Алексеем». «Безумная радость овладеет мной, – думал Собака, – когда я окажусь у себя дома и наконец-то залезу греться в горячий душ».

«А где я живу?» – спросил себя Собака, осторожно ощупывая голову. Вот тут шишка. И вот тут. Вот тут запеклась кровь, но не больно. Может, не своя?

«Так, давай не отвлекайся.

Где мы с тобой живем, Собака?» Проспект Рокоссовского, невнятная труба со стенами многоэтажек, пересекаемая трамвайными путями. Кинотеатр «Салют», в котором был когда-то давно, еще до ремонта, и мирно спал, мягко соскользнув с сиденья вниз, чуть касаясь пыльными кроссовками чьей-то чужой обуви.

Там теперь, кажется, расстояние между рядами приличное, никому мешать не будешь, если вдруг отключишься и съедешь по сиденью на пол. Такое с Собакой случалось часто, когда он оставался один на один с собой. Такое случилось с ним и сегодня, только в чужом троллейбусе и в чужом районе, в ранее никогда не посещаемой Малиновке.

Собака попытался вспомнить номер троллейбуса, но не

смог, поскольку сажился на рогатого зверя не сам, сажали друзья, недавно переехавшие в Малиновку жить. Нет, никто не был пьян, разве что самую малость. Просто не обратил внимания. Сел себе и сел, сказали же, что до вокзала.

Силясь вспомнить лица и имена, Собака танцевал по обстановке, каждые три секунды вскидывая голову и всматриваясь в темноту слева. Ему чудился вкрадчивый троллейбус.

Сейчас каких-нибудь без пятнадцати пять утра, потому что редкие фонари начали потихонечку таять, а деревья проявились на фоне неба, будто бы вырезанные из него ножницами.

Можно было бы позвонить кому-нибудь, останься у него мобильник. Собака на всякий случай еще раз потрогал карман джинсов. Непривычно пустой, слипшийся. Другой тоже, хотя в другой бы никогда не положил.

Радуется, что не отобрали куртку, в ней, в потайном карманчике на едва заметной молнии, лежат хорошо прощупываемые ключи от квартиры.

«В тот день ему опять повезло. В пахучем кусте можжевельника, с которого он обрывал губами сизые, матовые ягоды, увидел он какой-то странный комок палого листа».

Из каких глубин перевернутой памяти лез этот текст и почему, Собака догадаться не мог. Да, это из Бориса Полевого. Собака наклонился и посмотрел на свои ноги. Для полной уверенности слегка потопал изгвазданными кроссовками. Походил. На обезножевшего летчика он никак не тянул.

И кругом все-таки город, а не лес. Темный, стылый, уютный в любое время суток, но город.

Собака поежился, представив, что было бы и как бы он себя чувствовал, очнись он не на травке под окнами незнакомой пятиэтажки, а в лесу.

В полупустом троллейбусе, не умея держать внимание на нечастых огоньках, плавающих в сырой асфальтовой темноте, Собака вырубился и проснулся летящим в эту самую темноту из плавно удаляющихся дверей троллейбуса – по прямой от него и чуть вверх, когда он мешком с костями брякнулся на асфальт, ударившись задом и потом головой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.